

Леона Токер

Выигравшие лотерею: Сталинский период в воспоминаниях современников-свидетелей

Winners of the Lottery: The Stalin Period in the Memoirs of Contemporaries

The article deals with the ways in which the memoirs of Il'ia Ehrenburg, Nadezhda Mandelstam, Emma Gershtein, and Raisa Orlova testify to their authors' life during the Stalinist terror and to the fates of their contemporaries who fell victim to persecutions. Ehrenburg compared his having avoided arrest during the years of terror to having drawn a lucky lottery ticket: indeed, though each of the four memoirists took various measures to escape repression, a great deal depended on sheer luck.

The article focuses on the areas where the memoirists concurred with the ideology of the Soviet system. These are issues that Lidiia Ginzburg called 'areas of identification' or 'points of compatibility', that is, aspects of the Soviet reality with which even the critics of the regime consented, feeling a genuine inner need to cultivate such consent. Ehrenburg alternates his spare account of the Great Terror with that of his struggle against fascism and his participation in the Soviet promotion of the international peace movements: he had, as it were, to choose his fights (though he downplays the wisdom of his conduct during the antisemitic campaign of Stalin's last years). The memoirs of Nadezhda Mandelstam, whose canonical status has recently been undermined, and of her former friend Emma Gershtein, likewise not immune to criticism, take the position that it is the duty of intellectuals to maintain cultural treasures through the worst of times. By contrast, the memoirs of Raisa Orlova are a puzzled soul-searching confession of a former committed Stalinist who eventually shed her dogmatic beliefs and became a dissident.

В 1962-ом году, том самом от-
тепельном году, под конец ко-
торого выйдет *Один день из
жизни Ивана Денисовича*, в
журнале *Новый мир* началась
публикация воспоминаний
Ильи Эренбурга *Люди, годы,
жизнь* – одно из самых значи-
тельных литературных собы-

тий хрущевского периода. Это
произведение во многом зада-
ло жанровые формы последу-
ющим мемуарам: его черты –
фрагментарность (на которую
указывает само название), не-
линейность (сочетание хроно-
логии общего хода с тематич-
ностью отдельных глав), и

общее направление на восстановление справедливости по отношению к людям, которых автору посчастливилось встретить на своем пути – будут повторяться и в более поздних интеллектуальных мемуарах. Сквозь всю книгу – то в открытой форме, то подспудно – будет повторяться исповедальная тематика, сконцентрированная на роли и месте автора в период репрессий.

Перу Эренбурга принадлежит ставшая легендарной формулировка “выиграть лотерею”. Уже в первой главе воспоминаний Эренбург пишет: “Я выжил – не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею” (Эренбург 2005, I: 7). Эренбург был прозорливее многих (ведь и лотерейный билет надо приобрести), но лишь выдержки и такта не было бы достаточно. Помогла и полезность Эренбурга сталинской политике; помогла и случайность – внезапная смерть тирана.

В этой статье рассматриваются воспоминания о сталинских десятилетиях в книгах четырех свидетелей, которые не были сами арестованы во вре-

мена так называемого культа личности, но наблюдали его влияние на свою жизнь и жизнь современников: Ильи Эренбурга (1891–1967), Надежды Мандельштам (1899–1980), Эммы Герштейн (1903–2002), и Раисы Орловой (1918–1989). Их свидетельства приняли форму *воспоминаний*, а не *автобиографий*: в советской действительности жанр *автобиографии* зачастую обретал отрицательные бюрократические коннотации. В мемуарах и автобиографиях обычно сочетаются, в разных пропорциях, сведения трех видов: личное, частное и общеисторическое. Суть *частного*, в отличие от личного (см. Токер 2000), состоит в *допуске* к сферам, в которые вхожи немногие; свидетели чувствуют обязанность рассказать о том, что они увидели и поняли благодаря своей близости к значительным событиям и людям.

В 1979 г. Лидия Гинзбург отметила потребность советской интеллигенции в “точках совместимости” (Гинзбург 2011: 281–282) с режимом¹ (можно

¹ См. подробное обсуждение эссе *Поколение на повороте* (276–284) и *И заодно с правопорядком* (285–296) как частей интеллектуальной биографии Лидии Гинзбург в статье Джейн Гарри Харис (Harris 2003). См. также Зорин 2010.

добавить: и с доминирующими общественными тенденциями). Такое явление известно в разных формах политической организации общества: и теперь, например, консервативно настроенные западные интеллектуалы рады возможности выразить такие убеждения, которое они со спокойной совестью могут разделить с так называемым прогрессивным течением – например, противостояние расизму. Контуры темы сталинских репрессий в мемуарах связаны с местонахождением точек совместимости с политикой СССР и особенностями их перемещения.

1

В той же первой главе воспоминаний Эренбург предполагает (ошибочно), что его эпоха оставит мало показаний, потому, что люди его поколения “слишком часто бывали в разговоре с нашим прошлым, чтобы о нем хорошо подумать” (Эренбург 2005, I: 7–8). “Разговор с прошлым” — это метафора чувства вины и травмы выживания. Как отметил в своей рецензии литературовед Виктор Эрлих² (Erlich 1963: 17–

² Эрлих, профессор Йельского Университета, автор влиятельной книги

18), Эренбург объясняет свой удачный “лотерейный билет” умением молчать, но не может избежать подозрений в более активной стратегии выживания в период культа личности — “спонтанного” обличения жертв и славословия палачу. Среди многомиллионного сообщества переживших ГУЛАГ нашлись и люди, обвинявшие Эренбурга в личном предательстве путем доноса, во что автору этих строк трудно поверить³. Но славословие пала-

о русском формализме, внук убитого гитлеровцами историка Шимона Дубнова и сын Генриха Эрлиха, погибшего в сталинском застенке в 1942 г. руководителя еврейского социалистического объединения Бунд. В том же 1942 был расстрелян, явно по указу Сталина, и Виктор Альтер, соратник Генриха Эрлиха.

³ В пятой главе первой книги Эренбург пишет что он “пронес через всю жизнь отвращение к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам” (Эренбург 2005, I: 30). Однако, как писал Варлам Шаламов в статье *Вторжение писателя в жизнь*, произвольным доносом может стать книга: в романе *День второй* (1934) имя и фамилия героя, воплощающего проблематичное мироощущение, Володя Сафонов, слишком явно указывает на его прототип, Владимира Сафронова, которого Эренбург встречал в Томске. В 1935 году Сафронов был арестован и сослан на три года; в последствии, пишет Шаламов, “Прототипа’ забирали при каждой кампании, ‘дело’ следовало за ‘делом’, срок за сроком. Следствие,

чу со стороны Эренбурга в самом деле было. Впрочем, на такой компромисс пошли, с меньшим успехом, даже Осип Мандельштам и Анна Ахматова⁴. Если что-то и отличает

тюрьма и лагерь надломили здоровье сибиряка” – Шаламов и сам был таким “повторником”. В контексте своих радужных заблуждений Эренбург оказался неосторожным, но, добавляет Шаламов, “ни один мудрец не мог бы предугадать изобретательность и моральные пределы слуг государства конца тридцатых годов” (Шаламов 2013).

⁴ Ахматова решилась на такой шаг из-за опасности, которой подвергался ее арестованный сын. С другой стороны, мандельштамовская *Ода* Сталину не была просто вымученной попыткой искупить “преступление” 1934-го года – стихотворение *Мы живем, под собою не чуя страны*, так называемую *Сталинскую эпиграмму*. В своем исследовании связей *Оды со Стихами о неизвестном солдате* (“о вожде, который дает имя эпохе, и о бойце, который погибает безымянным”, Гаспаров 1996: 10) Михаил Гаспаров приходит к выводу об искренности попытки Мандельштама прославить Сталина (Г. Морев объясняет изменение отношения поэта к тирану от эпиграммы к *Оде* ложным убеждением о том, что Сталин прочел его эпиграмму и “простил” поэта за нее). Как показывает Олег Лекманов (Лекманов 2015), язык *Оды* пронизан идиоматикой и топосами хвалебной поэзии Сталину в печати 1930-х годов. Но вряд ли Сталину понравилось бы это сложное стихотворение, помодернистски открытое множеству прочтений, часто противоречащих друг другу. О чувствительности ста-

воспевание Эренбургом Сталина как ответственного “кормчего” в 1949 г. – это моменты совпадения требуемого с тем, что действительно внутренне переживалось: самые страшные идеологические эксцессы вырастают из слияния “официального заказа” с личной предрасположенностью – в данном случае связанной с потребностью верить в мудрость вождя и системы. Эренбург был долгое время заражен такой верой – на фоне страха, тоже “подпитывавшего” его пафос, никого в то время не удивлявший. Во время работы над мемуарами многие из его заблуждений уже остались в прошлом, но ясность оставалась неполной, а “участки тождества” (Гинзбург 2011: 292) приняли форму пропагандистских мероприятий “борьбы за мир”, верности системе при разочаровании в правителях, и остаточного энтузиазм по отношению к “социалистическому” строительству.

В 1934-ом году, вернувшись из Парижа в СССР для участия в Съезде писателей, Эренбург поехал с дочерью на север. В

линских ставленников в литературе к нестандартной, многозначной лексике, см. Тименчик 2014.

четвертой части воспоминаний он пишет:

Я побывал на запанях, где люди, стоя на плотках, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запань порой скрипела, – казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю; но люди работали день и ночь. Стволы вязали; буксиры везли плоты в Архангельск; там дерево грузили на суда – английские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов.

Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов; видел равнодушных, ловкачей, мошенников (Эренбург 2005, II: 46).

Эренбург видел и косность бюрократов и лишения крестьян, но не видел лагерей, все плотнее покрывающих рос-

сийский Север. Он не знал или не помнил, что сплав леса всего лишь за четыре года до его поездки осуществлялся руками заключенных – и лишь опасность бойкота советской экспортной древесины заставила власти заменить заключенных свободными поселенцами (переведя ээков в основном на работы по инфраструктуре). Проблему незамеченного или несказанного Эренбург подменяет темой контрастов:

[...] просматривая старые комплекты *Красной нови*, я случайно попал на такие строки: “Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза” [...] Я задумался: правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти если не к глазнику, то к психиатру?.. Да, я часто восхищался, часто и сердился, хмурился, веселел. Однако, разговаривая с другими людьми, видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих глазах, а в эпохе – на контрасты она не скупилась (Эренбург 2005, II: 46–47).

Это признание не меняет дела: от самых страшных аспек-

тов советского строя Эренбург отводит глаза. В записных книжках за 1956 год (когда уже не было смертельно опасным предавать такие мысли бумаге), Лидия Гинзбург пишет, что Эренбургу “дозволялась, даже вменялась в обязанность легкая фронда и тогда, когда всем дозволялось одно чистое подхалимство” (Гинзбург 2011: 419–420). Эта благоверная фронда⁵

[...] состоит в том, что на сцену выводятся легкие тени зла. В *Девятом вале* вернувшийся с фронта еврей вдруг, изумленный и потрясенный, обнаруживает существование антисемитизма (представленного подвыпившим дворником). И тут же друзья успокаивают его: действительно, есть некоторые отсталые элементы; на них лучше не обращать внимания. Евреи, читая, восхищались. Что ж, тогда и это было важно – сказать слово, ставшее произносимым, именно для того, чтобы невозбранно

⁵ Со слов других, Гинзбург – на мой взгляд, несколько несправедливо – называет это явление “подхалимствующей фрондой” (Гинзбург 2011: 419).

могло совершаться дело. Но о делах страшных и кровавых врать с такой ужимочкой мог только неписатель. Только у неписателя нет внутреннего сигнала “Не трогать!” – для некоторого рода вещей, когда о них нельзя сказать правду. Теперь то же самое он проделывает со старичком, семнадцать лет просидевшим в концлагере [в романе *Оттепель*]. Антисемитизм есть, но носители его – подвыпившие дворники. В лагерях сидели, но из них выходили с девственным мировоззрением. Хороших художников еще зажимают, но народ, никогда не видевший ничего, кроме герасимовщины или репродукций с Шишкина и Айвазовского, с первого же взгляда понимает и принимает новое искусство [...] (Гинзбург 2011: 420)

Гинзбург проводит линию преемственности между романом, написанным во время террора, и *оттепельным* романом: прозорливая осторожность Эренбурга превратилась в его постоянный художественный метод, в некоторой

мере объясняющий даже структурные особенности его произведений⁶, в том числе мемуаров.

Книга *Люди, годы, жизнь* сочетает крупноплановую хронологичность с главами, родственными жанру эссе. Эренбург объясняет фрагментарность изложения нежеланием сочинять связи: “Я не собираюсь связно рассказать о прошлом — мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом” (Эренбург 2005, I: 10). Эти слова можно прочесть и как оправдание умолчаний. Нелинейность нарратива дает автору дополнительные степени свободы. Распределяя главы в соответствии с основными стадиями своей жизни, Эренбург создает как бы естественные условия для рассказов о людях, которых встретил или с которыми сблизился на разных этапах. Черты жанра эссе позволяют ему забегать в будущее, упоминать гибель этих ярких личностей – Владимира Антонова-Овсеенко, Марселя Розенберга, Михаила Кольцова, Лоти (Давида Оскаровича Львовича), Владимира Горева, Соломона Михоэлса и многих других – с тяжелой ру-

⁶ О мастерстве Эренбурга в деле внедрения в текст тематики и деталей, неугодных цензуре, см. Toker 2013.

ки Сталина или когда “лесорубы выполняли, перевыполняли какую-то дьявольскую норму” (Эренбург 2005, II: 121), имея в виду печально известную поговорку, распространенную во времена Большого Террора — “лес рубят – щепки летят”. Если отсутствие деталей о мученичестве всех этих людей можно считать частью общей установки Эренбурга на показ лишь “тени зла”, это же умолчание оправдано и акцентом на свидетельстве из первых рук, а также некоторым полуинтимным доверием к читателям, которые и сами должны знать, понимать и помнить (в настоящем или в будущем). Каждое имя, каждый намек – это зацепка, заломка, открытый вопрос, основа для будущих ссылок и сравнений.

С другой стороны, рассказы о судьбах людей перемежаются главами о деятельности Эренбурга за границей. В самые страшные годы террора он мог отвлечься от ужаса происходящего при помощи своих загранпоездки. Возвращаясь в СССР, в эти же страшные времена он тешился ростом образования и культурных потребностей всё более широких слоев населения – пока не столкнулся с массовым антисемитизмом на рубеже 1952–

1953 годов. Даже тут у него нашлись объяснения (с аллюзией на Паскаля): “Я говорил, что наш народ духовно вырос; но и мыслящий тростник порой перестает мыслить; можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу” (Эренбург 2005, III: 275).

Основной “участок тождества” Эренбурга со сталинской политикой состоял в противостоянии фашизму. Из двух довоенных зол гитлеровский фашизм был бóльшим. Эренбург вспоминает слова Жан-Ришара Блока после издания сталинского антилиберального закона о семье и браке в 1944 г., “Теперь война, не стоит об этом задумываться” (Эренбург 2005, II: 415).

Жан-Ришар Блок не желал воевать на двух фронтах – как после войны на двух фронтах действовал Давид Руссе, клеймивший Бухенвальд (в 1946 г. он выпустил во Франции книгу *Концентрационный мир*), но сражавшийся и против все еще действующих советских лагерей. Эренбург, несомненно, стремился избежать ареста, особенно в 1937 г. Его статус корреспондента газеты *Известия* в Париже защитил его от излишней видимости в Москве. Впоследствии, во времена, когда, по

словам Лидии Гинзбург, “лотерея” уступила место “очереди” (Гинзбург 2011: 285), страх стареющего писателя был менее интенсивным. Надежда Мандельштам пишет: “Я готов ко всему’, – сказал мне Эренбург, прощаясь в передней. Это была эпоха дела врачей и борьбы с космополитизмом, и его черед надвигался” (Мандельштам 1970: 122).

Эренбург отмечает, что 1948-й был самым тяжелым годом его жизни. Его работа с Василием Гроссманом над *Черной книгой* требовала душевных сил, а запрещение ее издания на русском языке накануне публикации – в 1947 г. – стало для него одним из первых признаков поворота в политике властей, перехода к практически открытому антисемитизму. Еще во время войны Эренбург узнал о массовом убийстве евреев в его родном Киеве⁷; освещая Нюрнбергский процесс, он узнал гораздо больше, но пути и цели его собственной деятельности как военного корреспондента и антифашиста были ясны. В 1948 г. его духовным якорем было созданное при поддержке советского руководства Движение

⁷ О стихах Эренбурга и других советских поэтов о Бабьем Яре см. Clowes 2005.

сторонников мира, а новая волна террора заставляла его кривить душой, хоть и не беспредельно. О своих волнениях он рассказывает скупно; о том, что увиливал в ответах на вопросы иностранных журналистов, говорит не прямо, а цитируя “нападки” подозревающих его в умалчиваниях.

Сталинский антисемитизм был для Эренбурга непредвиденным ударом, расшатывающим устои. Вскоре после энтузиастического приема, с которым московские евреи встретили посланника Израиля в СССР Голду Меир (книга *Люди, годы, жизнь* не упоминает об этом эпизоде), Эренбург публикует в *Правде* статью, которую многие евреи ему не простили. Переживания, связанные с этой статьей, в мемуарах не описываются; цитируется только общеидеологическая часть ее содержания, и внимание читателя сразу переносится на сталинский элитоцид:

В сентябре 1948 года я написал для “Правды” статью о “еврейском вопросе”, о Палестине, об антисемитизме [...] Мне сказали, что статью послали Сталину и он её одобрил. А несколько месяцев спустя (потом я

понял, что это было по его указанию) закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету “Эйникайт”, издательство, разбросали набор “Чёрной книги”. Первым эшеленом жертв стали писатели, писавшие на идиш, – Перец Маркиш, Квитко, Бергельсон, Фелфер и другие (Эренбург 2005, III: 121–122).

“Для ‘Правды’” в этом случае могло значить по предложению редакторов *Правды* (см. Stupples 1977: 20): статья была официальным заданием. Основываясь на словах Менахема Флаксера, беседовавшего с Эренбургом в Париже в 1962 г., биограф Эренбурга Джошуа Рубинштейн допускает, что к Эренбургу обратились Каганович и Маленков с просьбой написать статью, предупреждающую советских евреев не связывать свою судьбу с Израилем. Михоэлс был убит за несколько месяцев до этого: Эренбург уже понимал подозрительность Сталина по отношению к евреям – как и ко всякому советскому гражданину, желающему жить в другой стране, но в случае евреев эта подозрительность была усилена личным антисемитизмом диктатора. Длинную

статью Эренбурга, занимавшую целую газетную полосу, сегодня можно прочесть как попытку предупредить советских евреев, что мечта об эмиграции в Израиль (на подобие послевоенной репатриации польских граждан) бесплодна и что на “родине мирового пролетариата”, в отличие от капиталистических стран, так называемый еврейский вопрос решается ленинским интернационализмом. Многие евреи, однако, не пожелали понять намек (Rubenstein 1996: 256–262).

В конце 1952 г. началось “дело врачей”, усилился антисемитизм и верхов, и низов, и в начале 1953 г. распространились слухи о предстоящем вывозе всего еврейского населения на Дальний Восток; приводилась даже дата – 15 мая (см. Орлова 1993: 204)⁸. Мужество Эренбурга, выразившееся в отказе подписать письмо, требующее депортации евреев из Европейской части СССР как бы для их защиты от гнева

⁸ В данное время историки считают план вывоза евреев недоказанным (даже Джошуа Рубинштейн отошел от своей прежней уверенности в правоте этого слуха). Однако мое поколение не может усомниться в их достоверности: наши родители, не сговариваясь, рассказывали о слишком большом количестве признаков надвигающегося вывоза.

населения (даже Василий Гроссман подписал это письмо), было осознанным – он хорошо понимал, что ставилось на карту⁹. Его страх не был страхом смерти: “[...] я испытывал страх не на фронтах, не в Испании, не при бомбежках, а в мирной обстановке, когда ждал звонка или стука и дверь” (Эренбург 2005, I: 331). В 1930-х годах бомбежка в Испании была духовным пристанищем от новостей, поступающих из Москвы. Эренбург замалчивает и один из наиболее героических эпизодов своей жизни:

Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось

⁹ Вспоминая о пребывании в дореволюционной тюрьме (как и полагается русскому либеральному интеллигенту), Эренбург пишет: “В общем, и тюрьма – хорошая школа, если только тебя не секут, не пытаются и, если ты знаешь, что посадили тебя враги и что о тебе дружески вспоминают единомышленники” (Эренбург 2005, I: 55). Эти три условия отсутствовали в тюрьмах сталинского террора – еще один пример намека, “тени зла”, в текстах Эренбурга.

письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось и Сталин не успел сделать того, что хотел. Конечно, эта история — глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить [...] (Эренбург 2005, III: 277)

О драме ночного вызова Эренбурга в редакцию *Правды*, когда на требование подписать коллективное письмо он ответил контртребуванием передать Сталину личное письмо, которое он тут же напечатал на машинке, расскажут другие (например: Rubenstein 1996: 272–276). В письме Эренбург выражал озабоченность в том, что коллективное письмо еврейских деятелей культуры может разжечь антисоветскую кампанию на Западе и как бы просил совета Сталина. “Дело замешкалось”, пишет Эренбург – было бы нескромно говорить, что замешкался Сталин. Через несколько дней Сталин умер от инсульта. У не живших во времена репрессий нет права упрекать писателя в излишней осмотрительности во время страшных валов террора, однако он сам оставался “в размолвке со

своим прошлым”, как часть интеллигенции, выигравшей лотерею, предварительно купив билет. Одним из оправданий его стратегии “совместимости” была мысль о том, что кто-то должен остаться, чтобы рассказать о произошедшем новым поколениям, если такая возможность представится. По мере того, что дозволялось в ранние шестидесятые годы, книга *Люди, годы, жизнь* была исполнением и оправданием этой надежды. И действительно, из воспоминаний Эренбурга широкие массы советских читателей впервые услышали имена многих западных модернистов и многих затравленных советских художников и писателей. В наши дни, более трех десятков лет после начала “гласности”, ныне прекращенной, формула “возвращенные имена” давно превратилась в клише (и подлечит защите от снобского презрения и цинизма), но в шестидесятые годы прошлого столетия она вдохновляла духовное развитие новых поколений. Влияние Эренбурга прослеживается, хотя и косвенно, в гораздо менее сдержанных *Воспоминаниях Надежды Мандельштам*, ходивших в Москве из рук в руки в конце того же шестого десятилетия и выпущенных в там-

издате в 1970 г., хотя общие черты этих книг – цитаты на всю жизнь запомнившихся слов собеседников (в отличие от искусственных диалогов), горькие парадоксы, твердые (до афористичности) окончания абзацев, сочетание про-реженной хронологической канвы с главами типа эссе – объяснимы и мерой общности в их восприятии литературно-свидетельского долга их эпохи.

2

“Сейчас моя выдержка и самодисциплина ослабели”, иронически отмечает вдова поэта Осипа Мандельштама; “[...] пишу эти страницы, хотя нам объяснили, что вспоминать те годы надо умеючи. Единственная разрешенная форма подобных воспоминаний – показ того, что человек в любых условиях остается верным строителем коммунизма и умеет отличать главное – нашу цель – от второстепенного – своей собственной искаленной и растоптанной жизни. О правдоподобии этой концепции не позаботился никто” (Мандельштам 1970, 305)¹⁰. Ис-

¹⁰ Большинство цитат в данном разделе относятся к первой книге воспоминаний Надежды Мандельштам (Мандельштам 1970).

кренность *Воспоминаний* и их недопустимость в доперестро-ечной печати связаны с полным отвержением этого трафарета.

Общую структуру этой книги описывает Варлам Шаламов:

Хронологическая канва, переплетенная то с историко-философскими экскурсами, то с бытовыми картинками, то с пронзительными, отчетливыми и верными портретами, – в которых нет ни тени личной обиды. Вся рукопись, вся концепция рукописи выше личных обид и, стало быть, значительней, важнее. Полемические выпады сменяются характеристиками времени, а целый ряд глав по психологии творчества представляет исключительный интерес по своей оригинальности, где пойманы, наблюдаются, оценены тончайшие оттенки работы над стихом. Высшее чудо на свете – чудо рождения стихотворения – прослежено здесь удивительным образом (Шаламов 2004: 734–735).

Мысль о “чуде рождения стихотворения” как об онтологическом событии проходит и в рассказе *Шерри-бренди* самого Шаламова, который Надежда Мандельштам слышала на вечере, посвященном Мандельштаму на мехмате МГУ в 1965 г. В этом рассказе, в сознании умирающего поэта рождаются новые стихи: их нет возможности записать, и их существование остается лишь в непостижимой поэтической сфере¹¹.

Книги Надежды Мандельштам связаны тематикой “чисто советского искусства хранения опасных рукописей” (Мандельштам 1987: 7): она записывала, переписывала, прятала, распределяла, увозила, запоминала наизусть стихи мужа, вначале помогая их становлению (Мандельштаму творческое уединение было противопоказано) а впоследствии –

¹¹ Надежда Мандельштам пишет: “У меня создалось ощущение, что стихи существуют до того, как они сочинены [...] Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова” (Мандельштам 1970: 75). Такая концепция поэтического процесса, описанная французскими философами Рибо и Бергсоном, была свойственна и Владимиру Набокову.

заботясь об их доступности. В статье, посвященной художественным особенностям ее мемуаров (метонимичность, ритм, нюансы позиции), Чарльз Айзенберг замечает, что ради интерпретации деталей текстов Достоевского читатель вряд ли обратится к мемуарам его вдовы, тогда как воспоминания вдовы Мандельштама, вписывающие его в историю поэтического сознания, стали необходимым источником изучения его наследства (Isenberg 1990: 193). *Воспоминания* начинаются с удара: “... Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву” (Мандельштам 1970: 7)¹². Без предисловий автор вводит читателя в кризисный период, подразумевая, что гонения, приведшие Мандельштама к отчаянному скандалу, общеизвестны. В первой же главе, в

¹² Шок, если верить Эмме Герштейн, был состоянием самой Надежды Яковлевны в начале работы над *Воспоминаниями*: “Начав писать свою первую книгу, Надя очутилась как бы в состоянии шока. Она погрузилась в свою ушедшую жизнь с Осипом Эмилевичем, постепенно по ступеням переживая все ее повороты. Это было беспощадное вживание в, казалось бы, забытую жизнь, а в действительности лишь временно отодвинутую вглубь. Не сразу к ней вернулось понимание сущности их совместной жизни” (Герштейн 2002: 584).

мае 1934-го г. (т.е. еще до убийства Кирова), НКВД вторгается в жизнь поэта – в присутствии жены и Анны Ахматовой, приехавшей его спасти¹³. В почти хронологическом порядке, но с тематическими отступлениями, описываются дальнейшие этапы – следствие, ссылка на три года в Чердынь, замена места ссылки Воронежом, сложная жизнь в Воронеже, мытарства по возвращении в Москву, западня в санатории в Саматихе, повторный арест Мандельштама в 1938-м, его смерть в пересыльном лагере под Владивостоком, противоречивые рассказы бывших заключенных о его последних неделях, бегство Надежды из временных мест пристанища, где над ней собирались тучи. Как Шаламов, повествуя о лагерях, Надежда Мандельштам начинает с самого главного, как бы спеша рассказать, пока жива и не в тюрьме. Впоследствии, во *Второй Книге* (1972) и в по-смертно выпущенной *Книге третьей* (1987), заполняются пробелы.

В *Воспоминаниях* рассказ о четырех последних годах жизни Мандельштама дополняется

¹³ См. исключительно интересную интерпретацию первого абзаца *Воспоминаний* в статье Г. Фрейдина (Freidin 1982: 422–423).

наблюдениями над культурологическими явлениями во времена репрессий. Точки совместимости Надежды Мандельштам, тогда еще – Хазиной, были в основном в первые годы революции. Во *Второй книге* она признаётся в левых настроениях своих юных лет; теперь она называет их авангардистской “жеребятиной” (Мандельштам 1990: 21). Полное прозрение пришло довольно рано и не без связи с гонениями, которым подвергся Мандельштам, когда соперничество литературных течений переросло в кампании против всего чуждого соцреализму и в борьбе литературных групп вошли в употребление нелитературные средства (Мандельштам 1970: 180). Однако идея свободы – не только от классовой системы, но и от жизненных устоев прошлого – привлекала.

Более сложным является вопрос об участках тождества самого Осипа Мандельштама, которые его вдова приуменьшает, вспоминая о нем в основном как о проницательном критическом толкователе тоталитарного режима¹⁴. Димит-

¹⁴ “Авторитет книг Н. Я. Мандельштам и создаваемого ими образа были следствием не только художественного дара их автора, но и его социальной чуткости; они шли навстречу

рий Сегал (Сегал 2021: 565–566 и 652–676) отмечает, что политические симпатии Осипа Мандельштама “были на стороне молодой русской демократии, в частности эсеров, и направлены против большевиков”, но он же выявляет и амбивалентность в отношении к октябрьскому перевороту в стихотворении *Гимн*. Судя по его поведению, а не по разрозненным репликам, приводимым Надеждой Мандельштам, одной из черт режима, приемлемых для Мандельштама, была определенная “национализация” (в отличие от “приватизации”) поэтов, с вытекающими отсюда обязанностями государства по их материальному обеспечению и связи с читателем. Вскоре Мандельштам оказался не принятым в лоно и незащищенным, но его противостояние режиму в ранних тридцатых годах связано в основном не с личной обидой, а с горем над судьбой крестьянства и, по мысли Глеба Морев (Морев 2022: 76), идеологической близостью уже не столь к эсерам сколь к той части больше-

возникающему в СССР в конце 50-х годов отчетливому общественному запросу на фигуру репрезентирующую безупречное нравственное сопротивление сталинскому режиму” (Морев 2022: 12).

вистской интеллигенции (Бухарин и единомышленники), которая уже попадала в немилость, вскоре будет жестоко разгромлена и войдет в советскую историографию как “правый уклон”. По интерпретации Гаспарова, в 1937-м г. сдвиг позиции Мандельштама навстречу культу Сталина выражает отказ от противопоставления себя массам: “разночинская традиция [...] не допускала мысли, что один поручик идет в ногу, а вся рота не в ногу” (Гаспаров 1996: 88).

Даже строгое расхождение Мандельштама с режимом по вопросу о терроре болезненно смягчилось в 1937-ом. О его стихах, обращенных к сталинистке “умильного типа” (Мандельштам 1970: 194) Еликонице Поповой (*Необходимо сердцу биться*), со спокойным упоминанием смертных приговоров (Тухачевскому и другим), Надежда Мандельштам узнала уже после написания *Воспоминаний* (см. Морев 2022: 162–167)¹⁵.

В воспоминаниях Надежды Мандельштам, точки совместимости интеллигенции,

¹⁵ Александр Жолковский (Жолковский 2015) интерпретирует этот эпизод биографии поэта как один из признаков его желания идти по стопам Пастернака.

особенно ее более благоустроенной части, которой “было что терять” (Мандельштам 1970: 32), более примитивны – это попытки если не оправдать аресты, то по крайней мере понять их причины в качестве урока на будущее (“Он такое себе позволял [...] Я сам слышал, как он сказал», Мандельштам 1970: 14). Арест Мандельштама она и Анна Ахматова не могли объяснить тем, “что людей берут ни за что” – стихотворение *Мы живем, под собою не чуя страны...*, особенно его первый вариант, со словами про “Кремлевского горца / Душегубца и мужикоборца”, признавалось смертоносным и до ареста. Когда в квартиру вторглось НКВД для второго обыска, по всей вероятности искали это стихотворение, не найдя его в изъятых документах – Мандельштамы хранили его только в памяти, не записывая. Кто-то другой записал и донес. “По Надиным словам, – пишет Эмма Герштейн, – у следователя был список того варианта, который был известен только Марии Петровых и записан ею одной” (Герштейн 2002: 73)¹⁶. В

¹⁶ В романе *Сталинская эпиграмма* Роберта Литтелла это указание приобретает мелодраматическое выражение: образ поэтессы Марии Петровых синтезируется с образом артист-

Воспоминаниях Надежда Мандельштам не выдвигает таких обвинений¹⁷. “Каждая семья перебирала своих знакомых, ища среди них провокаторов, стукачей и предателей” (Мандельштам 1970: 37) – иногда такие подозрения поощрялись самой Лубянкой (Мандельштам 1970: 27). Автор *Воспоминаний* знает, что и она не была от них застрахована.

Под следствием Мандельштам назвал людей, слышавших его стихотворение, чем поставил и их под удар, хотя до начала ежовщины дела ещё не открывались автоматически на всех названных в протоколе. Тем не менее, Надежду Мандельштам тревожит мысль о пре-

ки Ольги Ваксель в вымышленной актрисе Зинаиде Зайцевой-Антоновой; встав с постели Мандельштамов, Зайцева-Антонова передает текст фатальных стихов в органы (Littell 2009: 105–107).

¹⁷ Подозрения против Марии Петровых отвергаются ее сестрой и дочерью (Фигурнова и Фигурнов 2002: 164–167 и 174–181) и другими, в том числе Е. А. Ермолиным. Екатерина Петровых (сестра) приводит мнение Марии, что Сталин не знал об эпиграмме Мандельштама (ему боялись показать) и что причиной ареста (и сравнительно “вегетарьянского” первого приговора) был эпизод с Алексеем Толстым. Глеб Морев также думает, что об эпиграмме Сталин не знал, а что приговор Мандельштаму в 1934 г. он смягчил в контексте улучшения отношения к “специалистам”.

вращениях, происходивших с людьми в застенках, “за гранью”. Только после попытки самоубийства в Чердыни Мандельштам превозмог психический кризис. Но читатель *Воспоминаний* не сразу связывает размышления о безумии подследственных с поведением Мандельштама на допросах: их размещение в тексте несколько манипулятивно.

Книги Надежды Мандельштам посвящены в почти равной мере поэзии Мандельштама и общественному фону судьбы автора. Как и в мемуарах Эренбурга, здесь периодически упоминается о том, кто из собеседников “исчез”, стал жертвой репрессий. Но в отличие от мемуаров Эренбурга ее картина сталинской эпохи включает описание интеллектуального и нравственного растления, в которое государственный террор поверг образованную часть общества и ее дискурс. Описание общественного фона часто зиждется на его языковых особенностях: “слово ‘совесть’, совершенно выпавшее у нас из обихода – оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала ‘классовым чувством,’ а потом ‘пользой государства’, – сохранилось и работало ‘внутри’ [в

тюрьме]. Там постоянно угрожали подследственным ‘муками совести’” (Мандельштам 1970: 71). Словосочетания “его взяли”, “он сидит”, “его выпустили”, “его посадили” получили в русском языке новое значение”, а в строке, открывающей стихотворение Мандельштама *Еще мы жизнью полны в высшей мере...* “высшая мера” ассоциируется с советским оборотом “высшая мера наказания”, обозначавшим смертную казнь (Мандельштам 1970: 205).

Надежда Мандельштам описывает 1920-е годы не как последний аккорд Серебряного века, а как пору консолидации тирании и идеологической подготовки к элитоциду:

[...] именно люди двадцатых годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас: молодое государство, невиданный опыт, лес рубят – щепки летят... Каждая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного “нового”. Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается

в таких случаях, постепенно растаяла. И именно люди двадцатых годов начали аккуратно отделять овец от козлийщ (Мандельштам 1970: 175).

По ее диагнозу, под конец этого десятилетия изменились функции сексотов. В двадцатые годы, в отсутствие институтов общественного мнения, роль таких институтов исполняли карательные органы: они “зондировали общественные круги – что там думают? – и для этой роли существовали специальные кадры осведомителей. Затем решили, что общественное мнение совпадает с государственным, и роль осведомителей свелась к регистрации фактов расхождения, из которых планомерно делали административные выводы” (Мандельштам 1970: 176). Картина состояния интеллигенции и тех, кто стремился выдвигаться из более широких слоев, патологична: “В такие эпохи текущие дела – настоящий наркотик. Нужно, чтобы их было побольше. Надо в них погрузиться” (Мандельштам 1970: 317). Но наркотика не хватает, когда людей начинают *таскать* на встречи с НКВД – для того, чтобы завербовать их, запугиванием или обещаниями, в секретные со-

трудники (по-народному, в стукачи). Вербовка равнозначна закабалению, но многие были готовы на все. В результате люди стали встречаться реже, подозревать друг друга, бояться, что их самих примут за стукачей.

Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке – подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей (Мандельштам 1970: 94)¹⁸.

“Несовершеннолетний оптимизм” ответственен за многие участки тождества, от покло-

¹⁸ Автор добавляет, что “толпы ‘вызываемых’ жили под вечным страхом разоблачения и, подобно кадровым служащим органов, были заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена” (Мандельштам 1970: 38).

нения Сталину одних через оправдание репрессий другими – до веры, что скоро станет лучше. В обществе людей, чья жизнь проходила под знаком террора, и, с другой стороны, отчаянно благоверных (“в духе чувствительного и сантиментального сталинизма”, впоследствии названного “гапонщиной”, Мандельштам 1970: 237), провокаторов, сексотов и *проработчиков* (термин, более часто употребляемый Раисой Орловой и Лидией Гизбург, чем отверженными Мандельштам и Герштейн), не представляющих себе, что их жертвы могут выжить и вернуться, немногим посчастливилось прожить незапятнанную жизнь. В период работы над *Воспоминаниями* сталинское прошлое “еще не изжито и не осмыслено. Слишком много народу принимали в нем участие, прямое или косвенное, или, по крайней мере, молчали о том, что знали, чтобы теперь мы осмелились прямо взглянуть ему в глаза” (Мандельштам 1970: 307).

В *Воспоминаниях* фигурируют и различные типы конвоиров¹⁹, и, наоборот, рабочие в

¹⁹ Мандельштам “[...] отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые

провинции, все еще сохраняющие традиции сочувствия и милостыни арестантам: “Доброту [...] приходилось искать в захолустных местах, глухих к зову времени. Только пассивные люди сохраняли эти качества, завещанные предками” (Мандельштам 1970: 141). В современной ревизионистской историографии наблюдается тенденция отрицания значимости сталинского террора как фактора в коллективном сознании советского народа. Воспоминания Мандельштам и других литераторов свидетельствуют о противоположном – о силе этого фактора в жизни интеллигенции. В рамках данного литературного исследования вопрос о степени проникновения страха и

были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те ‘внутри’ – совсем особые: ‘чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание – обыкновенный человек этого не выдержит’” (Мандельштам 1970: 71). Надежде Мандельштам хватило одного похода в Лубянку на свидание с мужем, чтобы навсегда запомнить типаж: “[...] холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой ‘внутренней’ профессии еще до того, как я замечаю их взгляд – голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей – я наблюдала его у школьников и у студентов” (Мандельштам 1970: 32).

чувства несправедливости за пределы кругов интеллигенции должен оставаться открытым, но выявление путей самообмана в литературной среде позволяет предполагать, что похожая механика действовала и в более широких слоях населения. Мандельштам свидетельствует, что и в текстильном поселке Струнино, где она жила после ареста мужа, “и своих тоже много забирали, и народ жил мрачный и насупленный”. Крамольные слова “[...] произносились только со ‘своими’, а стукачей они знали наперечет. Мы своих стукачей знали далеко не всегда” (Мандельштам 1970: 364–365).

Оправдание репрессий связано с поощряемой психологией деления общества на *своих* и *чужих* (на официальном языке, *чуждый элемент*), идущего со времен революции и гражданской войны – но тут оказывается (тоже значимое слово сталинского лексикона),

[...] что право состоять в категории ‘своих’ не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. За это право велась и ведется непрерывная борьба, и вчерашний “свой” в один миг может скатиться в категорию

чужих. Мало того: логически развиваясь, принцип деления на своих и чужих приводит к тому, что каждый скатывающийся становится “чужим” именно потому, что он катится вниз. Тридцать седьмой год и все, что за ним последовало, возможны только в обществе, где идея деления дошла до своей последней фазы (Мандельштам 1970: 31).

Но и сама Надежда Яковлевна не избежала тенденции такого деления, хоть и не в политическом, а в морально-эстетическом (аксиологическом) плане: одна из глав её *Второй книги* посвящена попытке объяснить, чем для Мандельштама и Ахматовой было понятие *мы*, кто входил в их миниатюрный коллектив, кто *жил* по соседству, а кто был *чужим*. Элементы официальной языковой политики проникали в сознание даже будущих диссидентов.

Не без боли Надежда Мандельштам признается в том, как легко поддавалась влияниям в молодости, например в 1919 г.:

В Киеве в мастерской Экстер какой-то заезжий

гость [...] прочел частушки Маяковского о том, как топят в Мойке офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная тогда девчонка, сумела смиренно его выслушать и на всю жизнь запомнить урок (Мандельштам 1970: 114)²⁰.

Такое отрицание собственной непогрешимости усиливает ореол правдивости автобиографического текста.

Как известно, “оптимизм” населения поощрялся постоянным воспеванием советских достижений и цензурованием дискурса, противоречащего установке на жизнерадостность. Этот участок совместимости был связан и с иллюзией прогресса, улучшения жизни после временных эксцессов, расширения слоев населения, чье материальное благосостояние росло (“Нам кажется, что все идет, как надо, и жизнь продолжается,

²⁰ Бетт Холмгрен (Holmgren 1993: 104) замечает, что в этом отношении отец Надежды проложил дорогу Эренбургу, а Эренбург – Мандельштаму.

но ведь это только потому, что ходят трамваи’, – сказал мне О. М. еще задолго до первого ареста”, Мандельштам 1970: 233). Под конец тридцатых годов делались карьеры: “Все были потенциальными выдвиженцами, потому что каждый день кто-нибудь выбывал из жизни и на его место выдвигался другой” (Мандельштам 1970: 297–298) – таков был сталинский метод джентрификации. Репрессии на верхах казались восстановлением законности:

Ведь в 34 году, когда велось следствие о стихах О.М., уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте – вот она, власть готовых концепций! – мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы – уже знавшие по процессам двадцатых годов, чего можно ожидать от Вышинского!... (Мандельштам 1970: 87).

“Может, смягчится”, – сказала Надежда Яковлевна ссыльному члену одной из разбитых марксистских партий в 1934 г. “Что вы! – ответил он. – Только сейчас начинает разгораться’. И я не поверила [...] ведь не может же вечно так продолжаться, как сейчас... За мою долгую жизнь мне много раз казалось, что мы дошли до предела и скоро наступит то, что я называла смягчением... Расставаться с иллюзиями никому не хочется” (Мандельштам 1970: 65).

Хотя ни она, ни Мандельштам не были причастны к процессу усиления тирании – беспартийным не требовалось голосовать на партсобраниях – Надежда Мандельштам сожалеет о своем духовном прошлом с его культивацией духовной неполноценности: “Только собственное несчастье раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу” (Мандельштам 1970: 102).

Но и в конце шестидесятых годов убеждения Надежды Мандельштам не монолитны, и не только потому, что точки

совместимости включали “припадки того, что сейчас у нас называется патриотизмом”, которые Мандельштам, очнувшись, называл безумием. “Но все же интересно, что у людей, работавших в искусстве, полное отрицание существующего приводило к молчанию, полное признание губительно отзывалось на работе, делало ее ничтожной, и плодотворны были только сомнения, которые, к сожалению, преследовались властями” (Мандельштам 1970: 134). Метания и сомнения, включавшие и гипнотическую силу слова “революция” (Мандельштам 1970: 133) – еще один пророческий языковой момент – были не столько “сором” из которого, по словам Ахматовой, “растут стихи, не ведая стыда”, сколько ядовитым варевом с примесью наивных идеалистических ингредиентов.

Подобная парадоксальность явлений своего времени – сквозной мотив воспоминаний Надежды Мандельштам и один из истоков их притягательной силы. Парадоксально и в то же время совершенно логично ее объяснение успеха в главной цели ее жизни: лишив ее жилплощади (предмета мечты советских граждан),

власти выпустили ее из западни:

Останься я в московской квартире рядом с писателем-генералом, мои кости давно бы сгнили в общей лагерной яме. После второго ареста О. М., когда я слонялась без жилья и прописки, за мной пришли в нашу последнюю калининскую комнату, но меня там уже не было [...] Западни для меня не нашлось, и меня, бездомную, забыли, поэтому я выжила и сохранила стихи О. М. (Мандельштам 1970: 143)

Тут тоже подспудно проходят мотивы прозорливости и лотереи. Мандельштам объясняет и своеобразную подневольную культуру поведения, повышающую шансы оставаться незамеченным: надо улыбаться, чтобы показать, что довольны жизнью; не надо громко смеяться, чтобы не привлечь подозрение соседей (Мандельштам 1970: 324–325), можно указывать на отдельные недостатки, но только не с позиции какой-либо группы. В довоенные годы помогало и уезжать, менять адрес – тогда норму арестов выполняют и без поисков тебя. Однако в пери-

од кампании против “космополитизма” рулетка репрессий сменилась более личным выбором жертв: весной 1953 г. ее уволили из пединститута в Ульяновске, но арестовать уже не успели.

Когда Мандельштам был лишен возможности заработка, а жена не могла оставлять его одного, они просили денег у всех друзей и у знакомых писателей: “Это неприкрытое нищенство, к которому он был принужден государством, иначе говоря, той жизнью, что в печати называется счастливой. Нищенство – еще не худшая сторона этой жизни” (Мандельштам 1970: 338). Впоследствии, на протяжении многих лет после смерти Мандельштама, его вдова отдавала долги – в прямом смысле слова. В переносном смысле платеж производится и в ее книгах, при зыбкости граней между сведением счетов и поиском справедливости. *Вторая книга* в особенности вызвала неодобрение – по поводу возможного сведения счетов – со стороны Лидии Чуковской и Венямина Каверина²¹. Они спорили не столько с иконоборчеством Мандельштам, сколько с ее мятежом против традиционной в России идеа-

²¹ См. Holmgren 1993: 166–168.

лизации писателей. Вздо-
ражила ранних читателей и
общая картина массового при-
способленчества советской
интеллигенции – именно в по-
следнем Иосиф Бродский
(Brodsky 1986: 152) видит при-
чину значительного уменьше-
ния количества гостей в ее
знаменитой кухне в Москве
после публикации *Воспомина-
ний*.

“Советские люди достигли вы-
сокой степени психической
слепоты, и это разлагающе
действовало на всю их душев-
ную структуру. Сейчас поко-
ление добровольных слепцов
сходит на нет, и причина это-
го самая примитивная – воз-
раст. Но что передали они по
наследству своим потомкам?”
(Мандельштам 1970: 62). Вспо-
миная с сожалением о массо-
вой революционной пере-
оценке ценностей, Мандельш-
там задумывается о своем
настоящем времени: “Быть
может, сейчас идет новое со-
бирание ценностей. Они
накапливаются вслепую, мед-
ленно и с трудом. Я никогда
не узнаю, смогут ли их отсто-
ять и сохранить при следую-
щих предстоящих нам испы-
таниях” (Мандельштам 1970:
250). После нападения путин-
ской России на Украину эти
слова приобретают пророче-
ское звучание.

3

Портретные “зарисовки”
Эренбурга Надежда Мандель-
штам считает “слащавыми”
(Мандельштам 1990: 171). В
контексте ее воспоминаний
это относится к заметкам
Эренбурга об Осипе Ман-
дельштаме, но применимость
этого суждения шире. Эрен-
бург же отмечает: “Некоторые
авторы воспоминаний стара-
ются очернить своих бывших
друзей; это мне не по душе”
(Эренбург 2005, II: 10). Эрен-
бург прикрывает прием умол-
чания личным этическим вку-
сом; авторы, грешившие про-
тив благожелательной селек-
тивности, часто воспринима-
ются не только как более от-
кровенные, но и как более
правдивые, что не всегда одно
и то же. Резкость суждений
Надежды Мандельштам о
многих друзьях, в том числе о
литературоведе Эмме Гер-
штейн, с годами возрастала.
Герштейн в долгу не осталась.
В записных книжках 1971 г.
Варлам Шаламов иронично
записывает: “Секрет истины:
просто надо долго жить, кто
кого переменуарит” (Шаламов
2004: 328); и в эссе *О моей про-
зе*: “кто кого переживет, тот
того и переменуарит” (Шала-
мов 1998, IV: 376, про И. Пана-

ева). Во *Второй книге* Надежда Мандельштам признается: “Я хочу говорить правду, только правду, но всю правду не скажу. Последняя правда останется со мной – никому, кроме меня она не нужна. Думаю, что даже на исповеди до этой последней правды не доходит никто” (Мандельштам 1990: 131). Не исключено, что часть из того, о чем Мандельштам не хотела говорить, сказано – то ли правдиво, то ли с домыслами – в *Мемуарах* Эммы Герштейн, много лет дружившей с Мандельштамами²². Герштейн объясняет, что ее понимание документальности мемуаров шла вразрез с принципами умолчания, которых придерживалась Ахматова. Практика “нас возвышающего обмана” (Герштейн 2002: 585) у Ахматовой кажется ей чрезмерной. Не исключено, что и

²² “Надя стала бояться, что я буду писать мемуары о Мандельштамах. Я слишком много знала, по ее мнению. Как я уже писала, эти опасения сказались с полной силой в Воронеже, где Осип Эмильевич упрекал меня, конечно, инспирированный Надей, в намерении писать о нем мемуары после его смерти. Эти подозрения казались мне смешными, мои занятия были очень далеки от составления мемуаров, а отношение к Осипу Эмильевичу и Анне Андреевне было чисто личным, далеким от любопытства к знаменитостям” (Герштейн 2002: 308).

развенчание такой идеализации в ее *Мемуарах* несколько чрезмерно. Это вероятно относится и к интервью (журналу *Зеркало*), в котором мотивации Надежды Мандельштам, в основном в ее послеоттепельном конфликте с Н. И. Харджиевым, последовательно сводятся к ее собственным интересам²³. Впрочем, впоследствии Герштейн отмежевалась от этого интервью.

В книге Герштейн отношения Надежды и Осипа представляются почти как каторжный союз за счет более благоустроенных знакомых, чья помощь, особенно с ночевками, оплачивалась личным обаянием. Одна из частей *Мемуаров* носит название *Перечень обид* – этот заголовок, сочетающий частное с личным, подходил бы и к большей части текста. Герштейн любит Надежду Мандельштам, но и отвергает ее: “У меня было чувство, что я имею дело с существом какой-то другой породы, и я приняла Надю в свое сердце такой, какой она была” (Герштейн 2002: 543). Языковой регистр ее книги иногда понижается, когда речь заходит о “Надьке”.

²³ Благодарю Эдуарда Вайсбанда за то, что напомнил мне про это интервью, и за конструктивные замечания к этой статье.

Не исключено, что Герштейн права, когда говорит, что Надежда Яковлевна была бисексуальной и что практика ее замужества включала в себя секс втроем. Примеров *amour en trois* в раннюю революционную эпоху достаточно (Герштейн 2002: 592–593, 596); причиной тут и переоценка ценностей “буржуазной морали”, и нехватка жилплощади, приводящая к странным конфигурациям, и, наконец, влияние постоянного страха на интенсификацию либидо. Но при всей горечи обид, повествование Герштейн периодически оживляется, почти озаряется, появлением Надежды: “Легкость ее тона сразу подействовала на меня как шампанское” (Герштейн 2002: 29).

Примерно посередине *Мемуаров* расположена автобиографическая повесть *Лишняя любовь* – о любви Эммы Герштейн ко Льву Гумилеву, сыну Ахматовой. Эта наиболее личная из всех частей книги насквозь пронизана болью от неверности и рассказами о том, как, несмотря на обиды, она всеми силами пыталась помочь “Леве” и Ахматовой во время его “кубка горя” (Герштейн 2002: 277) и посредничать между ними в годы их болезненного отчуждения.

Автобиографические повести Герштейн фрагментарны, но в этом их достоинство: Герштейн как бы понимает, что ее наблюдения о культуре сталинизма более ценны, чем ее личные переживания. “Частный” аспект *Мемуаров* включает близкий допуск к жизни поэтов а также, в разделе *Мандельштам в Воронеже (по письмам С. Б. Рудакова)*, юридический допуск к архиву Л. С. Финкельштейн-Рудаковой (вдовы Сергея Рудакова), на чьей совести исчезновение многих материалов Николая Гумилева и Мандельштама²⁴. Первая часть *Мемуаров* Герштейн, *Вблизи поэта*, в некоторой мере продолжает комментарии Надежды Мандельштам к поэзии и прозе Ман-

²⁴ Герштейн пытается восстановить суть дела: “[...] об этой злосчастной истории известно только из книги Надежды Мандельштам *Воспоминания* и беглых упоминаний в ее же *Второй книге*. Однако эти сообщения нуждаются в серьезных коррективах. Написанные легкомысленной скороговоркой, они нарушают последовательность событий, искажая тем самым смысл происшедшего” (Герштейн 2002: 100). Тем не менее, материалы Эммы Герштейн не входят в резкие противоречия с версией Надежды Мандельштам; в основном они связаны со столкновением субъективностей действующих лиц, каждый из которых – герой собственной повести.

дельштама, намечая собственную траекторию к пониманию. Реплики Мандельштама в разных обстоятельствах врезаются в ее память:

– Я мыслю опущенными звеньями... (Герштейн 2002: 33)

– Я люблю шершавую эстетику (Герштейн 2002: 42).

Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся (Герштейн 2002: 465)²⁵.

“Завели и бросили”, – вот дословное резюме его речи о нашей современности, то есть о пресловутой “советской действительности” (Герштейн 2002: 21).

Герштейн долго не понимала или не признавала опасности, в которую ее ставило общение с Мандельштамом. Вернувшись со свидания с Осипом на Лубянке, Надежда в отчаянии сказала ей: “Эмма, Ося вас назвал”.

²⁵ Как отмечает Димитрий Сегал, “Мандельштам считал, что он не просто написал стихотворение против Сталина и прочел его друзьям, а совершил против него индивидуальный террористический акт” (Сегал 2021: 1155).

– Поздравляю! Теперь на вас заведено досье, – сказала мне Анна Андреевна, когда мы оказались с ней вдвоем в маленькой комнате. Тогда я была шокирована этими разумными словами Ахматовой. Если бы я могла в ту минуту охватить взглядом последующие двадцать лет, когда во всех инстанциях, отделах кадров, редакциях, квалификационных комиссиях и в Союзе писателей я слышала только одну фразу “вам отказано”, – может быть, я бы и призадумалась. Но в тот день мне было не до того (Герштейн 2002: 74).

Кроме того, Герштейн долго не понимала и опасности открытых споров при свидетелях:

Когда из Парижа приехал И. Г. Эренбург, он пришел к Мандельштамам вместе со Святополк-Мирским. Адалис принимала участие в завязавшемся остром разговоре. Эренбург преклонялся перед прогрессивной политикой Советского Союза, восхищался строительством

социализма, а мы, советские люди, не любили Эренбурга за то, что он хвалит издали то, что мы должны выносить на своей шкуре. Мандельштам объяснял, как трудно ему здесь работать, но Эренбург не хотел об этом знать. Когда он и Мирский ушли и все оживленно обсуждали речи Эренбурга, Адалис воскликнула: “Чего вы хотите? Мужчина в 40 лет, вот и все”. Но Надя меня уверяла, что Эренбург “все понимает” и что он показывал ей литографию, где изображен ад, насколько помнится, в духе пушкинского *Фауста*: “Так вот детей земных изгнание? Какой порядок и молчанье!” – и сравнивал эту неизбывную вечность с социалистическим раем (Герштейн 2002: 48).

Эренбург, по-видимому, был осторожен в присутствии Адалис. Позже, после полувиноватого, полу-сердитого рассказа о том, как она не смогла поехать в Воронеж, чтобы побыть с Мандельштамом, когда Надежда должна была ехать в Москву, Гер-

штейн отмечает, что Надежда “испытывала особое удовольствие, уличая в трусости писателей. У нее даже глаза светлели при этом. Однажды приехала в Москву почти ликующая: Эренбург, пробывший три дня в Воронеже, где он выступал, не зашел к ним” (Герштейн 2002: 83).

После Воронежа, веря в легитимность скандалов, Осип Мандельштам предложил, чтобы Эмма подняла крик на лестнице, когда его будут выселять (Герштейн 2002: 93). Публичные надрывные взывания к (соседскому) общественному мнению, сопротивление исполнителям ордеров, о котором мечтает и Солженицын в первой главе *Архипелага*, не были свойственны людям обычного темперамента в советские времена. Отказ Герштейн стать инструментом чужих баталий мотивирован не только чопорным принципом пристойности. В 1937 г. был уже и страх: “Я начала бояться еще до 1937 года” (Герштейн 2002: 318). То, что страх пришел сравнительно поздно, по-видимому, объясняется “точками совместимости”, о которых Герштейн не пишет. Зато много и интересно она пишет о преломлении общественных явлений в культуре периода террора. Во многом

ее сфера общего — характеристика сталинских времен — совпадает с фоном опыта Надежды Мандельштам, дополняя его. В середине тридцатых годов, по ее свидетельству, слово “народ” было “только-только реабилитировано после пятнадцатилетней замены его понятием ‘классы’ или (в рифму) ‘массы’. В обиход разговорной речи слово ‘народ’ еще не успело проникнуть. Введено оно было сверху, причем в официальной пропаганде усиленно подчеркивалось единство партии и народа” (Герштейн 2002: 120). “Общий” компонент свидетельств Эммы Герштейн включает социологические наблюдения. Главной социальной базой и “моральной поддержкой” власти Сталина она считает городских служащих: “место, занимаемое ими в структуре тогдашнего общества, было аналогично месту мелкой буржуазии, которая, по марксистскому политическому анализу, поддерживала фашистские режимы в Италии и Германии” (Герштейн 2002: 324). В стороне от политики пытался стоять новый слой интеллигенции, “особый контингент москвичей”, например “историки, бросившие преподавание в школах, чтобы стать или бухгалтерами, или

стенографистками, инженеры, сменившие суматошную службу на спокойную деятельность чертежника-конструктора, все те, кто искал выгодную и непыльную работу, свободную от давления идеологии. Они были страстными слушателями радио (оно еще было внове), у многих появились патефоны, женщины увлекались до безумия пением Козловского и Лемешева. Лет десять-пятнадцать спустя у меня стало возникать ощущение, что их всех убили, кого на войне, кого в тюрьмах и лагерях. Этот тип советских людей надолго исчез” (Герштейн 2002: 283). Жертвами Сталина она считает и часть слуг режима: “Сталин погубил нравственно не только тех невинных, кого оставил в живых, но и людей из ‘органов’. Конечно, на эту работу шли люди, имевшие склонность к садизму, но были и такие, которые были доведены до звериной жестокости всей системой и круговой порукой всех сотрудников” (Герштейн 2002: 358–359). Штрихи о самозащитном этикете в книгах Мандельштам получают продолжение — Эмму учат: “Никогда не подавайте виду, что вас застали врасплох. Нельзя также ходить крадучись, нельзя беспокоиться оглядываться”

(Герштейн 2002: 323). Надлежащей осторожностью Герштейн объясняет и тонкости эпистолярного поведения Ахматовой, когда Лев Гумилев был в лагере.

О трагедии Ахматовой, которую фактически шантажировали власти, Герштейн пишет с состраданием: в тревоге за сына, заключенного в лагерях, в 1950 г. Ахматова печатала в журнале *Огонек* цикл *Слава миру*, который “всю оставшуюся жизнь жег Анну Андреевну как незаживающая рана. После этого выступления у нее навсегда появилась фальшивая интонация в разговоре на людях” (Герштейн 2002: 446). Последнее наблюдение субъективно, и это не единственный эпизод, в котором фактография Эммы Герштейн пронизана интерпретацией. Под влиянием Бориса Эйхенбаума Герштейн стала литературоведом, исследователем Лермонтова. Некоторые из ее догадок о происходившем глубоко литературны. Ее глава *Анна Ахматова и Лев Гумилев* включает необычную интерпретацию знаменитого звонка Сталина Пастернаку после первого ареста Мандельштама: Сталин тянется к Пастернаку не (только) потому, что Пастернак упоминается в ходатайстве Бухарина о Ман-

дельштаме. Его звонок – это иррациональный ответ на личную приписку Пастернака к соболезнованиям писателей после смерти Надежды Аллилуевой – понял ли, почувствовал ли поэт что-то скрытое от других? Говорят ли два нестандартных акта “о существовании внутренней связи между этими двумя феноменальными личностями” (Герштейн 2002: 461)?

Так на трезвые страницы отчетов о веке “кремлевского горца” (и “рафинированной интеллигенции”, ждущей своего черед) проливается лермонтовская романтика, направляющая повествование ввысь и вглубь. Одна из причин популярности книги Эммы Герштейн в начале нынешнего века состоит именно в таком стимулировании читательского воображения.

4

К следующему поколению “выигравших лотерею” принадлежит Раиса Орлова, чьи *Воспоминания о непрошедшем времени* впервые вышли в издательстве Ардис в 1983 г. В то время автор, бывшая правоверная сталинистка, уже давно перешла на позиции диссидентства, так же как ее третий муж, Лев Копелев, германист,

отсидевший в лагерях, прототип упорного коммуниста Рубина в романе Солженицына *В круге первом*, и автор трех незабываемых книг о лагерях и о своей жизни до них. О таких людях, как Орлова до трансформации, пишут с презрением Герштейн и Н. Мандельштам, с сожалением – Эренбург. Проснувшись после разоблачения сталинизма, им приходилось жить с чувством вины – не только за заблуждения, но и за поступки. Со времен оттепели суть их надежд была в “социализме с человеческим лицом” – еще до того, как эта формула была создана во время Пражской весны. Наблюдая себя как будто со стороны, в третьем лице, Орлова пишет, что ее вызвали к следователю в 1934 г., школьницей, когда покончил самоубийством мальчик, которого она любила:

Ее допрашивали, ей было страшно и стыдно, что чужой человек допрашивается до личного, тайного. Она больше плакала, чем отвечала на вопросы. Она была защищена от зла, потому что не подозревала о его существовании. Следователь спрашивал: “О чем вы разговаривали? А

не высказывал ли он враждебных взглядов?” И ей не надо было тогда твердить себе: “О мертвых – только хорошее, о тех, о ком спрашивают в таких местах, – только хорошее”. Ведь это естественно, как дыхание. И она была совершенно беззащитна перед злом из-за этой самой наивности. Несколько лет спустя ей без особого труда внушили, что зло – это добро (Орлова 1993: 20).

Кроме прочего, ее происхождение придавало ей статус неполноценности – не потому, что родители были евреи, а потому, что семья числилась интеллигентской. Неполноценность приходилось компенсировать, в том числе “высокомерным” (Орлова 1993: 186) отношением к быту интеллигенции. С другой стороны, была новая любовь, также ранняя, счастливая, пока муж, поэт Леонид Шершер, не погиб на войне. Влияние личного счастья – в частности, разделенной любви – на общественную позицию молодых людей еще ожидает анализа. Не исключено, что романтика советских дальнихстроек питалась и благодаря семейной

любви молодых рабочих или мечтаний найти любовь.

Насколько идеологический настрой был всеобъемлющим, охватывающим всю личность, можно судить по следующему эпизоду:

В июне 1935 года я впервые в жизни попала на вечеринку, с патефоном, с песнями Вертинского и Лещенко, с танцами и поцелуями. Посреди общего веселья я внезапно выбежала из квартиры и на улице разрыдалась. Почему, о чем я плакала? Я была трезва. Происходившее не доставляло мне никакого удовольствия. А потом вдруг стало горько, показалось отвратительным все вокруг, все друзья и подруги и я сама. Я – изменница! Я изменила своим высоким мечтам... Рыдала я долго и никому не могла объяснить, в чем дело (Орлова 1993: 91).

Филологический анализ языка эпохи, характерный для Мандельштам и Герштейн, продолжается и в мемуарах Орловой: она вспоминает, как газеты тридцатых годов изобиловали словосочетаниями типа “самый (ая, ое) лучший (ая,

ее) в мире’, ‘впервые в истории человечества’, ‘только в нашей стране” (Орлова 1993: 92)²⁶. Впоследствии, в ноябре 1953 г. в газете *Комсомольская правда* появился фельетон Протопопова и Шатуновского *Плесьень* – “рассказ о том, как безобразничали министерские сынки и дочки. Возникло одно из важных для того времени слов-понятий” (Орлова 1993: 21).

В ранних главах книги упоминается посещение церкви с няней: коммунистическое воспитание пришло на смену религиозному, как “новая цер-

²⁶ См. также наблюдения о жаргоне, относящемся к литературоведению. Орлова вспоминает, что в 1939–1940 гг. некоторые советские литературоведы “утверждали: реакционное мировоззрение для писателя всегда вредно. Великие художники прошлого, например Бальзак или Достоевский, поднимались над своими взглядами, становились великими только вопреки ошибочному мировоззрению. Этих критиков [...] называли ‘вопрекисты’”. Другие “возражали: соотношение мировоззрения и творчества сложнее. Художественная правда часто возникала не только вопреки, но и благодаря консервативным взглядам. Их называли ‘благодаристы’” (Орлова 1993: 99). Бенедикт Сарнов уточняет определение “благодаристов”: это были литературоведы утверждавшие, “что великое художественное произведение может быть создано только благодаря прогрессивному мировоззрению художника” (Сарнов 2009).

ковь” (Орлова 1993: 66). Рассказ о посещении костела в Каунасе много лет спустя усиливает исповедальный тон книги. Если в своей автобиографии *Apologia pro vita sua* (1864) английский кардинал Ньюман пытается объяснить, что его переход из англиканской церкви в католичество был естественным продолжением его ранних теологических исканий, “апология” Орловой зондирует причины прежней слепоты, принимаемой за верность идеалам: “До 1953 года я верила во все, вплоть до ‘заговора врачей-убийц’. Горько оплакивала смерть Сталина. В 1961 году признаваться в этом себе и другим было не только стыдно, но уже и странно” (Орлова 1993: 7). Когда в 1961 г. она просматривает *Литературную газету* за 1949 год с публикациями против “космополитов”, она пытается понять, как она могла верить в правоту официального антисемитизма, когда “всё – подбор авторов погромных статей, стиль, лексика, не говоря уже о содержании, – всё свидетельствовало о грязи, лжи, отвратительной комедии” (Орлова 1993: 189). Исповедальный характер книги прослеживается несмотря на то, что разные главы были написаны

в разные периоды со времен XXII съезда КПСС. Фрагментарность повествования косвенно оправдывается словами бывшей подруги, Агнессы Кун: “В трагическом мире невозможна гармония, и нельзя к ней стремиться” (Орлова 1993: 115)²⁷.

Фрагменты передаются с точки зрения настоящего, с надлежащими само-укорами. Отец Раисы Орловой Давид Либерзон, попал в немилость в 1930-ые годы, жил в страхе, но ареста избежал. Молодежи предвоенного поколения их благополучные родители часто казались остатками старого мира с его “грошевым уютom”, по словам песни *Бригантина* на стихи Павла Когана²⁸. В грустной ретроспективе

²⁷ Агнесса Кун, дочь венгерского коммуниста Белы Куна, расстрелянного в 1938 г., в еще большей степени, чем Орлова, сохранившая коммунистическое “правоверие”, считала, что “Об этом нельзя сказать ‘часть’. Не можешь сказать всей правды, не берись”. Орлова не согласна: “Кому с тех пор удалось сказать ‘всю’ правду?” (Орлова 1993: 108).

²⁸ Орлова сожалеет, что авторство этой чрезвычайно популярной песни (*Бригантина поднимает паруса*) многим неизвестно. Стихи этой песни написал Павел Коган, который учился в ИФЛИ, а музыку – Георгий Лепский, который уже после войны закончил Московский государствен-

Орлова чувствует себя виноватой перед отцом: “он уже никогда не узнает, что я не прощу себе тех долгих месяцев, когда я проходила мимо него, как чужая” (Орлова 1993: 35). В рассказе о 1937 г., когда студенты еще пытались нежно фрондировать, защищая изгояемых из комсомола друзей (“на этих страшных экзаменах мы не всегда проваливались”, Орлова 1993: 97), а после их ареста смирились, в *Воспоминаниях* возникает сцена разговора с отцом:

Стоим мы с папой в большой комнате у радиоприемника – опять передавали что-то о бдительности, – и он спрашивает: “А если меня арестуют?” И я, не подумав ни мгновения: “Я буду считать, что тебя арестовали правильно”. Сказала, и пол под ногами не содрогнулся, и не было ни пламени, ни серы, ничего... Бог меня помиловал, и отца не арестовали. Принял ли он мои чудовищные слова как должное? Он и сам говорил, что по-другому нельзя. А может

ный педагогический институт им. Андрея Бубнова.

быть, надеялся не на такой ответ? Иначе не спросил бы... (Орлова 1993: 74)

Писатели старшего поколения еще помнили прошлую свободу слова, распри литературных группировок и целенаправленные кампании, посредством которых формировалась полуутопическая литературная проза о строителях коммунизма, освобождающих свою среду от пережитков. Поколение Орловой силами властей и цензуры уже было надежно ограждено от “неправильных” картин действительности и снабжено концептуальными фильтрами. В случае более благоустроенных молодых людей внедрение дискурса закрытой системы работало почти безупречно: нужно было хлебнуть бед, и не под знаком патриотической жертвенности, чтобы увидеть эту систему снаружи²⁹. Орлова была плотно ограждена от инакомыслящих, особенно

²⁹ Кажется единственное, с чем Орлова тогда не полностью смирилась в этой системе – это с укреплением привилегированной касты (и, пожалуй, с собственной принадлежностью к ней). Орлова пишет, что “на протяжении долгой и путаной жизни” у нее сохранилось стремление “платить долг тем, у кого меньше” (Орлова 1993: 72).

выйдя замуж за аппаратчика Николая Орлова через несколько лет после гибели Шершера:

[...] В те годы не было рядом со мной человека, который думал бы по-иному. То есть они существовали, и где-то совсем близко, но я-то их не видела, не слышала. И естественно, они ко мне не стремились, а то и не доверяли мне. Был любимый и любящий муж, были любимые и любящие друзья, родные. Но не было никого, кто попытался бы переубедить, кто увел бы с собрания: “Не голосуй. Пусть хоть не твоими руками”. Нет, все было и моими руками. Мертвое молчание, мертвый крик, все “за” (Орлова 1993: 74–75).

“Я голосовала вместе со всеми. Я очень долго голосовала вместе со всеми” (Орлова 1993: 109), пишет Орлова, вспоминая, как в 1937 г. в институте резолюцией требовали смертной казни отцу её подруги, бывшему наркому финансов Григорию Гринько³⁰.

³⁰ Подруга – в будущем Ирина Неупокоева, несколько лет работавшая в

Когда Эренбург писал свои воспоминания в начале шестидесятых годов, он радовался поддержке советского строя со стороны Андре Жида, Романа Роллана, Брехта и Фейхтвангера; изменение во взглядах Жида после визита в СССР он объяснял личным “мотыльковым” непостоянством писателя. Спустя два десятка лет Орлова приветствует сомнения части этих писателей и сравнивает их веру со своей:

А может быть, часть нашего самооправдания – если такие люди верили, чего же нам тогда стыдиться?

Есть чего стыдиться. Они приезжали на время, их всячески ограждали от действительности. Надо было обладать огромной пронизательностью, умом, чуткостью, чтобы прорвать завесу. Каждому из них – Жиду в том числе – демонстрировали, как их переводят, издают, знают, любят. Их, действительно, переводили, знали, издавали, любили.

Вильнюсском университете, с уважением упоминается и в мемуарах моей матери, тоже “выигравшей лотерею” (Стражас 2009: 284–286).

Фимиа́м был частью за-
весы. Трудно писателю
против этого устоять. А
мы здесь жили (Орлова
1993: 82).

Даже работая в ВОКСе (Все-
союзном обществе культурных
связей с границей), читая
речи гитлеровцев, она не ви-
дела параллелей со сталиниз-
мом. Впечатления иностран-
цев о жизни в СССР она счита-
ла искажением. По ходу по-
вествования, признаваемые
проблематичными поступки и
занятия проходят градацию:
(1) ей пришлось участвовать в
сочинении письма для загра-
ницы, оправдывая преслову-
тый Сталинский закон 1944 г.
о семье и браке; (2) в Бухаре-
сте в 1945 г. “грамотно, квали-
фицированно, временами да-
же изысканно” она с полной
уверенностью защищает “со-
ветское государство, строй,
человека” (Орлова 1993: 179);
(3) в Таллинском пединститу-
те она учит студентов, что “со-
ветский порядок – наилучший,
мир вообще и наш мир в част-
ности – прекрасен и все в нем
устроено в основном справед-
ливо. Надо лишь уметь это
увидеть, рассмотреть, даже ес-
ли тебя личная судьба искале-
чила” (Орлова 1993: 204); (4) ее
“таскали”, чтобы завербовать –
она сопротивлялась, но со-

глашалась давать подписку “о
неразглашении”; все же какая-
то ее бумага, которую она счита-
ла безвредной, была подши-
та к делу знакомого, наряду с
доносами; (5) она передала на
партийном собрании свой
разговор с кандидатом, кото-
рого по личным причинам
считала плохим человеком; (6)
будучи аспиранткой в Инсти-
туте мировой литературы (где
ее учили “разоблачать” амери-
канцев и их романы), во время
кампании против “космополи-
тов” она не только голосовала
со всеми, но и “выступила в
поддержку этой мерзости”
(Орлова 1993: 189), хотя, для
того времени, в несколько
дезинфицированных тонах.
Возможные причины послед-
него акта перечисляются как
общие черты периода: отвер-
жение собственного еврейско-
го происхождения; страх по-
сле недавних вызовов на Лу-
бянку, влияние психологии
масс (толпы), и настрой на го-
товность – “Раз это надо со-
ветской власти и партии, мы
готовы на все” (Орлова 1993:
195), по принципу “нравствен-
но все то, что служит пролета-
риату” (Орлова 1993: 232)³¹.
Впрочем, как обычно, оттор-

³¹ В контексте мемуаров Орловой этот принцип иронически применен к разделу Польши между Германией и СССР в 1939 г.

жение собственного еврейства не защитило Орлову от антисемитов:

В 1937 году я еще пыталась защищать гонимых. Двенадцать лет спустя я присоединилась к гонителям. Более постыдного времени, пожалуй, в моей жизни не было. А гонители не спешили принять меня в «свой». Наоборот. Провал моей диссертации в 1951 году (вслух все хвалили, а тайное голосование – 7 “за”, 8 “против”), вероятно, относился к той же космополитской кампании (Орлова 1993: 196).

Орлова не обходит тему страха, общую для всех выигравших лотерею. В молодости она мечтала о революционном героизме; после гибели Шершера просила, чтобы ее послали на фронт. Ее страх перед начальством долгое время оставался неосознанным. В ретроспективе осознание страха, особенно в диссидентский период, становится положительным явлением: “То, что я долго была такой бесстрашной перед жизнью, обогатило мои детство и юность: незамутненное счастье начала, безграничность я испытала

каждой клеточкой, целиком и полностью. Но и лишало многого – делало жестокой [...] Вместе с приходом страха в мою жизнь – осознанного страха – я стала лучше понимать других людей, стала более сострадательной” (Орлова 1993: 175). В первые годы после смерти Сталина пришел новый страх, вскоре оправдавшийся — страх “за свою веру” (Орлова 1993: 210).

Любовь к Льву Копелеву, его идеологическая трансформация, новое понимание сущности советских концлагерей³² привели к завершению этого процесса. “Участок тождества” с компартией переместился: в марте 1956 г., на трехдневном партийном собрании “люди один за другим говорили правду” (Орлова 1993: 223). Услышанное не забывалось. Но в ноябре того же года – вторжение в мятежную Венгрию. “Замораживание” оттепели, по справедливому мнению Орловой, началось, с перерывами, уже в 1957-м г. “В

³² Копелев и Орлова способствовали публикации *Одного дня из жизни Ивана Денисовича* Солженицына в журнале *Новый мир* (“За свою жизнь я не помню равного литературного события [...] [Рассказ – Л. Т.] будил не только чувство вины перед арестантами, но и нечто более глубокое – чувство исторической вины перед крестьянином” (Орлова 1993: 221).

то время”, пишет Орлова, ходил

[...] такой анекдот: учитель арифметики, реакционер, утверждал, что дважды два – девять. После упорной борьбы реакционеру пришлось уйти, его сменил либерал, который смело заявил, что дважды два – семь. А на того мальчика, который пытался робко заикнуться, что дважды два, кажется, четыре, посмотрели как на безумца, а то и подлеца: “Неужели ты хочешь, чтоб опять стало девять?!” Я долго была среди тех, кто радовался возможности сказать: дважды два – семь... (Орлова 1993: 247–248)

Хотя в диссидентском движении Орлова участвовала уже в 1968 г., партбилет она сдала в 1980-м – в знак протеста против высылки Андрея Сахарова в Горький.

Исповедальность Орловой частично стирает границы между личным и частным: ее случай показателен – она была одной из многих “правоверных” и одной из (меньшего количества) прозревших. Но в ее книге немаловажен и част-

ный “допуск”: она рассказывает, что знала об Эренбурге, его отношениях с Михаилом Шолоховым и Александром Фадеевым, о том, что “официальный” писатель Константин Симонов пытался тайно помогать гонимым, о том, какая атмосфера бывала в ИФЛИ и ИМЛИ, какие проблемы стояли перед сотрудниками журнала *Иностранная Литература*. Под конец книги помещены мемориальные главы (“частное”), основанные на разной степени личного знакомства – о Новелле Матвеевой, Александре Яшине, Аркадии Белинкове, Александре Галиче и других; особенно трогательно Орлова пишет о Фриде Вигдоровой. В портретах сочетаются, часто не без трений, личные черты героев с оттенками их идеологических позиций.

В 1974 г. вышла книга, *Мы жили в Москве*, написанная совместно Орловой и Копелевым с позиции диссидентов. Во время их визита в ФРГ, начатого в ноябре 1980 г., они были лишены советского гражданства и остались в Германии. О жизни вдали от родины рассказано в ее книге, законченной в 1984 г. но выпущенной в России посмертно, в 1994-м – *Двери открываются медленно*.

В заглавии воспоминаний Орловой сталинский период назван “непрошедшим временем”. Многие из глав написаны в шестидесятые годы, но приписки, вставленные курсивом в следующем десятилетии (в период “стагнации”), указывают на новую делиберализацию – вновь цензура, вновь обход правды, вновь страх. Сквозным мотивом неуверенность в возможности либерального общества в СССР проходит и во *Второй книге Надежды Мандельштам*. С тех пор возникали и рушились многие надежды. Теперь, в мае 2024-го, эти книги читаются совсем иначе, чем до вторжения России в Украину в феврале 2022-го – на следующий день после “Дня защитника Отечества”, бывшего “Дня Советской Армии”. Будут ли когда-нибудь написаны воспоминания о том, как эти события переживались в России, с помощью каких механизмов они одобрялись большей частью населения, где и почему были “точки совместимости” власти и частей интеллигенции? Карл Маркс был неправ, говоря, что история повторяется как фарс: она повторяется

как трагедия, хоть и с иной окраской.

Библиография

Гаспаров 1996: Гаспаров, Михаил. 1996. *О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года* (Москва: Российский Государственный Гуманитарный Университет)

Зеркало 1999: 'На фоне всех ревизий века: Беседа Ирины Врубель с Эммой Герштейн. Москва. Январь 1999'. *Зеркало. Литературно-художественный журнал*, 9–10: 3–33, <<https://zerkalolitart.com/?p=2809>> [последнее посещение 9 марта 2024]

Герштейн 2002: Герштейн, Эмма. 2002. *Мемуары* (Санкт Петербург: ИНАПРЕСС)

Гинзбург 2011: Гинзбург, Лидия. 2011 [2002]. *Записные книжки. Воспоминания. Эссе* (Санкт-Петербург: Искусство)

Ермолин 2021: Ермолин, Евгений. 'Мария Петровых в мемуарах Эммы Герштейн', <<https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/petrovyh/gershtein.pdf>> [последнее посещение 9 марта 2024]

Жолковский 2015: Жолковский, Александр. 2015. 'Он Пастернака перепастерначит: о мандельштамовских 'Стансах' к Е. Е. Поповой', *Звезда*, 2: <<https://magazines.gorky.media/zvezda/2015/2/on-pasternaka-perepasternachit.html>> [последнее посещение 9 марта 2024]

Зорин 2010: Зорин, Андрей. 2010. 'Лидия Гинзбург: опыт 'примирения с действительностью'', *Новое литературное обозрение*, 101: 32–51

Лекманов 2015: Лекманов, Олег. 2015. 'Сталинская 'Ода': Стихотворение Мандельштама 'Когда б я уголь взял для высшей похвалы...' на фоне поэтической сталинианы 1937 года', *Новый мир*, 3: <http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2015_3/Content/Publication_6_1360/Default.aspx> [последнее посещение 9 марта 2024]

Мандельштам 1970: Мандельштам, Надежда. 1970. *Воспоминания* (Нью-Йорк: Издательство имени Чехова)

Мандельштам 1990: Мандельштам, Надежда. 1990 [1972]. *Вторая книга* (Москва: Московский рабочий)

Мандельштам 1987: Мандельштам, Надежда. 1987. *Книга третья* (Париж: YMCA-Press)

Морев 2022: Морев, Глеб. 2022. *Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы)* (Москва: Новое издательство)

Орлова 1993: Орлова, Раиса. 1993. *Воспоминания о непрошедшем времени* (Москва: Слово)

Сарнов 2009: Сарнов, Бенедикт. 2009. “Вопрекисты’ и ‘благодаристы’”, <<https://lit.wikireading.ru/11217>> [последнее посещение 9 марта 2024]

Сегал 2021: Сегал, Димитрий. 2021. *Осип Мандельштам: История и поэтика. 2 т.* (Москва: Водолей)

Стражас 2009: Стражас, Нэдда Каменецкайте. 2009. *Большая вода: Мои шесть жизней* (Иерусалим: Филобиблон)

Тименчик 2014: Тименчик, Роман. 2014. ‘Об одном эпизоде биографии Мандельштама’, *Toronto Slavic Quarterly*, 47: 219–239

Токер 2000: Токер, Леона. 2000. ‘Личное и частное в автобиографии Владимира Набокова: Мираж, принимаемый за ландшафт’, *Revue des Études Slaves*, 72, 3–4: 415–421

Фигурнова и Фигурнова 2002: Фигурнова, О. С. и Фигурнова М. В. 2002. *Осип и Надежда Мандельштам в рассказах совооменников* (Москва: Наталис)

Шаламов 1998: Шаламов, Варлам. 1998. *Собрание сочинений в 4-х томах* (Москва: Художественная литература/Вагриус)

Шаламов 2004: Шаламов, Варлам. 2004 [1965]. ‘Переписка со Столяровой Н. Н.’, в *Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела*, сост. И. П. Сиротинская (Москва: Эксмо), 734–740

Шаламов 2013: Шаламов, Варлам. 2013. ‘Вторжение писателя в жизнь’. Публикация Ф. Тун-Хоэнштайн. *Русский репортер*, 24 (302): < <https://shalamov.ru/library/21/68.html> > [последнее посещение 9 марта 2024]

Эренбург 2005: Эренбург, Илья. 2005. *Люди, годы, жизнь. 3 т.* (Москва: Текст)

Brodsky 1986: Brodsky, Joseph. 1986. ‘Nadezhda Mandelstam (1899–1980): An Obituary’, in *Less Than One* (New York: Farrar Straus Giroux), 145–56

Clowes 2005: Clowes, Edith. 2005. ‘Constructing the Memory of the Holocaust: The Ambiguous Treatment of Babii Yar in Soviet Literature’, *Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas*, 3(2): 153–82

Erlich 1963: Erlich, Victor. 1963. ‘The Metamorphoses of Ilya Ehrenburg’, *Problems of Communism*, 12(4): 5–24

Freidin 1982: Freidin, Gregory. 1982. 'Mandel'shatm's *Ode to Stalin: History and Myth*', *The Russian Review*, 41(4): 400–26

Harris 2003: Harris, Jane Gary. 2003. 'Lidiia Ginzburg: Images of the Intelligentsia', in *The Russian Memoir: History and Literature*, ed. by Beth Holmgren (Evanston: Northwestern University Press), 5–34

Holmgren 1993: Holmgren, Beth. 1993. *Women's Work in Stalin's Time: On Lidiia Chukovskaia and Nadezhda Mandelstam* (Bloomington: Indiana University Press)

Isenberg 1990: Isenberg, Charles. 1990. 'The Rhetoric of Nadezhda Mandelstam's *Hope Against Hope*', in *Autobiographical Statements in Twentieth-Century Russian Literature*, ed. by Jane Gary Harris (Princeton: Princeton University Press), 193–206

Littell 2009: Littell, Robert. 2009. *The Stalin Epigram: A Novel* (New York: Simon & Schuster)

Rubenstein 1996: Rubenstein, Joshua. 1996. *Tangled Loyalties: The Life and Times of Ilya Ehrenburg* (New York: Basic Books)

Stupples 1977: Stupples, Peter. 1977. 'Il'ya Erenburg and the Jewish Anti-Fascist Committee', *New Zealand Slavonic Journal*, 2: 13–28

Toker 2013: Toker, Leona. 2013. 'On the Eve of the Moratorium: The Representation of the Holocaust in Ilya Ehrenburg's Novel *The Storm*', in *Search and Research: Yad Vashem Lectures and Papers*, 19: 37–56